

Диана Амбарцумян

Злосчастье феаков

Фрагмент романа

С армянского. Перевод Соны Бабаджанян

Друзья! Боги ниспослали мне вещий сон.
Мы слишком отделились от наших кораблей!

Гомер, «Одиссея»

Когда нам доведется вновь явиться на свет
Божий, мы соберемся вместе, сядем на берегу
реки, будем смотреть на бегущие воды и молчать —
облачившись в дымку.

Д.А.

1. Назначаю себя плетельщицей

Я Манэ. Это история моей семьи. Ну, чуть больше, чем история моей семьи. Это могло бы быть и твоей историей. Когда я только начала свой рассказ, то есть пару вздохов назад, мне пришло в голову, что не стану я от вас ничего таить, все выужу, что бы ни попало в мои сети — и форель, и акулу, и даже самую мелкую рыбешку — всех выведу на чистую воду. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, то вижу — не сморгну, такую могу поднять бурю, что вся тина со дна, весь мох, даже самая затхлая вода всплывут на поверхность, а что до чистой воды, то не тревожьтесь, чистая и так прибежит, смешается со всей этой мутью, с чистой-то все просто, она быстрая, не даст себя ждать.

Мало того что я Манэ, так ко всему прочему еще и армянка. Мало того что армянка, так еще ко всему прочему и шведка, потому как так уж получилось, как получилось — родилась и выросла я в Швеции. И так уж получается, что живу я и люблю жизнь именно здесь, в Швеции, где вода круглый год хлещет вкусно-вкусно, прямо как в Армении, сказала бы моя мама Скальдина, повторил бы мой папа Ар, подтвердил бы Тумас Транс, но как гражданка Швеции, я глубоко озабочена

Диана Амбарцумян — армянский писатель и переводчик. Автор 20-ти книг, в числе которых рассказы, повести, переводы, монографии и вузовские учебники. Живет в Ереване.

Сона Бабаджанян — переводчик художественной литературы, художник, иллюстратор. В 1988 г. окончила переводческое отделение московского Литинститута им.А.М.Горького. Живет в Австралии.

бессмысленной тратой воды, а посему советую всем чистюлям-домохозяйкам не мыть свои чашки, тарелки, ножи и ложки по сто раз на дню под проточной водой, а собирать их всех в посудомойку, которая хоть и покрутит мутную воду над их головой пару часов, зато под конец окатит кипятком, освятит как благословенной водой и вернет вам их очищенными и обновленными, сохранив для поколений отчую воду.

Я хорошо знаю армянский, точнее хорошо его чувствую, но не говорю хорошо, потому что стесняюсь своего шведского акцента. Так уж повелось с малых лет, я стесняюсь несовершенства. И этот стыд, как чесотка, зудит по всему телу, я чешусь до крови, до того, что закрываю глаза во время купания, чтобы не видеть собственную наготу.

Вот насколько я стесняюсь, что плохо говорю по-армянски, настолько прихожу в восторг, когда нащупываю вены и жилки армянского, кувыркаюсь в самой глубине и стремглав низвергаюсь на дно. Я люблю армянские толковые словари, из которых выуживаю обнаженные слова и наряжаю их в одежды, потом верчу немного в разные стороны, оглядываю сверху донизу, потом тычу в бока до тех пор, пока они самовольно не раскроются передо мной, не сбросят все листы и, раздирая кожуру, разденутся догола. А в одно время, когда я была маленькой и только начинала учить армянский, эти самые слова бусинку за бусинкой собирала моя мама, нанизывала их на ожерелье моей памяти и вешала мне на шею как талисман. Мне очень жаль, что я не часто нахожу повод выставить напоказ свой талисман, но он всегда со мной, въевшись в кожу, в самое сердце. Как броня.

Сейчас, чтобы рассказать эту историю, я выбрала именно армянский, чтобы вы увидели, как этот талисман сросся, впился мне в кожу, стал не только плотью и кровью, но и всей моей сущностью. Чтобы вы увидели — армянский это я.

Я могла бы написать эту историю и по-шведски, так нет! Решила осложнить себе жизнь. Когда я поставлю последнюю точку в этом своем рассказе, то, как и обещала Тумасу, переведу все на шведский, потому как это по его «вине» я втравилась в это дело и готова пройти все семь кругов чистилища, лишь бы Тумас прочел эту историю и, как и обещал, снял бы кино — кино своей мечты. А теперь уже и моей мечты.

Я плету эту историю каждый день — беру в руки, как длинный, густой волос, и плету. Возьму прядь справа, прядь — слева, проведу прядь сверху, прядь — снизу, так чтобы они перекрутились туго-натуго, чтобы всем казалось, что я связала их бисерной вязью, и как надумают ее расплести, возьмут за один конец и встряхнут всю копну, так что все явное и сокрытое нашей жизни возьмет и расплетется, распутится, как волосы, прядка за прядкой, рассвободится. И покуда я рассказываю эту невозможную возможность, я назначаю себя плетельщицей.

И вот сейчас, когда я все это рассказывала себе, в сотый, в тысячный раз пересказывала, терпеливо выслушивала историю жизни этой маленькой девочки, и вот когда я рассказывала, выслушивала и стонала, и плакала в голос, и сердце мое выпрыгивало из груди и уходило в пятки, и я стояла в растерянности и бродила как потерянная, и смеялась над собственными проделками, этой маленькой шалунишки, захлебываясь от смеха, сглатывала боль, и вот сейчас, когда у меня больше нет страхов, потому что от всех мои страхов меня избавила та малышка средством похлеще, чем заговор воском или попова молитва, и вот сейчас я уже знаю, что у меня хватит дыхания и духу, и что рассказывая это все тебе, я не побоюсь сказать — это моя история, и малышка это я. Эта история могла бы быть и твоей историей. Эта история — все мы: я Манэ, моя мама Скальдина-Нарэ, мой папа Ар, Тумас Транс, Ован, Шушо, Кебабщик, полный детворы дом, мамы, папы, бабушки и дедушки, стар и млад, жертвы и убийцы, заговорщики и помощники, знакомые и незнакомые поселки и города, море и небо, солнце и луна, земля и вода, дома, улицы, старое и новое, любовь и ненависть, дружба и вражда, честность и ложь, правда и кривда, нищета и богатство, болезнь и исцеление, жизнь и смерть, одно большое кино, что снималось без режиссеров и операторов,

без продюсерских смет и расходов, без ведома актеров и без специально написанного сценария или же по такому сценарию, что разыгрывается сам по себе по ходу жизни.

Это кино моей и вашей жизни, которое кадр за кадром, эпизод за эпизодом я записала по заказу-просьбе шведского кинорежиссера Тумаса Транса, друга моего папы Ара, мамы Скальдины и всей нашей семьи, свидетеля нашего злосчастия.

2. Тетя Шушо — крыса

Я маленькая. Из-под одеяла выглядывает тело моего отца — длинное, худое, большое. Я цепенею на пороге. Отец сопит во сне. Обняв отца за шею, распутив на его груди длинные волосы, сладко спит тетя Шушо. Спит на месте моей мамы Скальдины. Мне хочется крикнуть, позвать маму, но я боюсь разбудить папу. Затаив дыхание, я разворачиваюсь и вжик — убегаю. Точно крыса за мной гонится и вот-вот настигнет, покусает, загрызет в кровь мои пятки. Крыса у меня в голове, а в кадре видна неясная тень крысы, скачущей за мной по пятам. Слышны писк крысы и мое запыхавшееся дыхание. Я бегу, сломя голову. Сопение моего отца напугало меня до смерти.

Неужто это и есть то самое бегство, которое узрела злая гадалка? Мы вдвоем, я и моя мама Скальдина, стоим в тумане и ждем поезда метро. Наряженная в пестрые заплатки, появляется пышнотелая цыганка. Появляется так неожиданно, точно рождается из тумана. И так же неожиданно хватается Скальдину за руку и, развернув ладонь, несет черт-те что.

«Вижу бегство. И не одно», — каркает старая цыганка и, отбросив мамину руку как ненужную вещь, поспешно уходит.

И вот я бегу, сломя голову. В кадре — тесно прижавшиеся друг к другу и еще полусонные улочки Стокгольма. Я бегу, то и дело натыкаясь на прохожих, люди оборачиваются и смотрят на меня остолбенело и злобно, кое-кто машет руками и кричит мне вслед, но уши мои оглохли, они кричат, а я бегу, еле переводя дух. Я дохожу до большой и пустынной улицы и беспомощно останавливаюсь. Я все еще тяжело перевожу дух. Я верчу глазами яблоками вправо и влево, мои охваченные ужасом глаза — теперь во весь экран и, разрастаясь, затемняют еще недавно белую стену. Потом выясняется, что это экран моей памяти, который, начинаясь с моих глаз, спускается внутрь, все глубже и глубже, в самую глубину: на самое дно моей двадцатиграммовой души, сердца размером с кулак и памяти в два с половиной миллиона гигабайт. Дрожа от страха, и холода, и отчаяния, я обнимаю себя: скрестив руки на груди, стуча зубами, в ужасе перед этой большой и пустынной улицей — я всего лишь желторотый цыпленок, а плачу, квохтая, как курица-наседка.

Сейчас, когда я вспоминаю своего отца и рассказываю нашу легенду, опуская из истории пастушьего сына, зарубившего трехглавого дракона, и томящуюся по нему принцессу по одной простой причине, что сейчас они не ко времени, сейчас я вспоминаю, что, глядя на моего отца, я увидела, как беда выглядывает из-под его одеяла, и вот сейчас я рассказываю, и меня трясет и распирает от осознания того, каким чудом этой крохе удалось узреть грядущее.

Беда моего отца — это и моя беда. Для друга моего отца его беда — это повод доказать свою верность или неверность. Это потом я узнаю, что каждый человек имеет потребность в верности, равно как и в предательстве, в особенности в предательстве тех, кто ему верен. Бывает же — смотришь на избегающее тебя тело человека и видишь душевные муки того, кто уже отрекся. Как рука, опущенная в карман, нечаянно сталкивается с изнанкой одежды, так и человек погружается в предательство, как в обычный морок. Бывает. А потом, когда задним числом пытаешься припомнить, люди слушают-слушают и говорят — а что же ты не сказала, не предупредила? Да такая

кроха, о чем она вообще могла предупредить? Говорят — хоть бы мать прупредила. А мне кажется, не нужно было моей маме ничего говорить или подсказывать, она и без того каким-то чудом все заранее знала, будто кто-то неведомый из какого-то неведомого места давно уже нашептал ей, какое несчастье ожидает нас всех, в то время как она сама, зная обо всем, ни словом не обмолвилась, что совсем скоро наша счастливая семья распадется, разлетится на кусочки, а наши радостные дни останутся там, где нас уже никто не станет искать и не отыщет. Мама знала. На ее бледном лице уже была печать близящегося страдания, но она все еще оттягивала неминуемый миг столкновения с реальностью. Она знала, но была счастлива и не хотела думать о несчастье, которое незванным гостем нагрянет в наш дом, чтобы долго, невыносимо долго хозяйничать в нем и на правах хозяина кромсать наши дни и ночи. Нагрянет и накроет нас с головой, как ливень, от которого нет спасу, даже если над головой у тебя крыша, на теле — одежда, в кармане — деньги, а в углу и заначка на черный день, все равно нагрянет и оберет тебя дочиста, все днями намечтанное, ночами взлелеянное, коленопреклоненно воскуренное выцарапает у тебя из рук, а тебя саму бросит в темницу — а это уж вы сами представьте, какова эта темница будет на цвет, вкус, запах и звук. Я сама лично открыла глаза в этой темнице и в черед бесконечно тянувшихся дней не верила ни своим глазам, ни впитавшимся в глаза слезам, которые были, как стальные прутья, глубоко вколоченные в мои зрачки.

Когда я бежала так куда глаза глядят, сломя свою маленькую голову, то чувствовала, как все звуки мира заглохли в моих ушах, небо обрушилось мне на голову и душило меня, от бессилия я ненавидела своего отца. И это при том, что «Осенний вальс» Шопена сейчас полон звуков моей любви, так же как «Сона яр» Комитаса — звуками любви ко мне. Это сейчас звук для меня — знак и повод к любви, но было время, когда этот самый звук, повсеместно обернувшийся сплошным крысиным писком, был омерзителен из-за моей ненависти к миру и людям и папе, и эта была исключительно моя причина и была ведома только мне.

Кадр сменяется. Тот кадр, что расширяет мне зрачок и проникает в темные глубины моей памяти, которые в одно мгновение освещаются и наполняются оживленной суетой. Кадры, один за другим, до самого последнего, светлеют и темнеют, как сменяющиеся друг друга дни, показывая на экране моей памяти наше кино, которое вы сейчас смотрите, оторвавшись от своих повседневных дел.

3. Развалины и розы Висбю

Летом мы приезжаем из Стокгольма в Висбю. Папа Ар выстраивает нас вдоль узенькой, утопающей в розовых кустах мостовой и стучится в железные ворота дома напротив. Под низеньким каменным сводом, повернувшись к нам каменным крупом, возлежит баран с горделиво закрученными по обе стороны головы огромными остроконечными рогами. Небо Висбю облачилось в длиннополое лазурное одеяние, и ему очень к лицу этот пылающий лучезарный венец, исходящий от которого свет щекочет глаза мне и моим братьям и сестрам. Мы прикрываем ладошками наши вздернутые головы и переминаемся с ноги на ногу, чтобы скрасить скуку ожидания и хоть как-то укрыться от жалящих ласк солнца. Заметив наши беспомощные потуги моя мама Скальдина выживает из своей сумки разноцветные панамки и безошибочно напяливает на наши раскаленные от солнца головы.

День-дон! Колокол собора Висбю доносится как из старого и давно забытого фильма. Тепло полуденного солнца разливается над морем, и городом, и крышами, и развалинами, и розами, и людьми. Ворота дома напротив наконец открываются, и скрывшийся на какой-то миг за железной оградой папа вновь возникает перед нами в обнимку со своим другом-армянином. Потом папин друг делает причудливый шаг

вперед, отходит от папы, с ловкостью фокусника достает из-за спины запеленутые в тоненький, как лист бумаги, лаваш сверточка кебабов и, опустившись на одно колено, протягивает их нам так, словно преподносит в дар принцессе Тысячеголового соловья в золотой клетке. Видя, что мы неподвижно застыли на месте, он качает головой и, подойдя ближе, запихивает свои сверточки нам в руки и довольно улыбается. Достается сверточек и маме, но вместо того, чтобы его есть, она заворачивает сверточек в извлеченную из сумки салфетку и аккуратно укладывает в свою маленькую корзинку, в которой испеченные Скальдиной пирожки и бутылочки фруктового сока дремлют, прижавшись друг к дружке так тихо и мирно, будто им нипочем, что совсем скоро они подвергнутся жадному и нетерпеливому нападению нашей ненасытной оравы.

Это теперь я понимаю, почему мой папа Ар приходил в такой восторг при виде белизны, обтягивающей шоколадную кожу обнаженных девичьих ног, и почему это он в нашем присутствии всю старался приструнить трепет жарко бьющегося сердца. Откуда мне было знать, что такое страсть, откуда мне было знать, что страсть может как рождать любовь, так и любовь убивать. Я не знала. Еще не знала, но видела, как моя мама Скальдина молча, без улыбки и бледная стояла возле наваленных в кучу у дверей чужого дома сумок и смотрела на наши чавкающие рты, с аппетитом разрывающие на кусочки наши сверточки. Скальдина, казалось бы не причастная к кипящей вокруг нее суматохе жизни, с невозмутимым терпением смотрела на нас, смотрела так, будто мы были в пустыне и в бескрайних просторах этой пустыни она видела только нас, окутанных облаком кебабного духа.

Динь-дон! Динь-дон! Дома Висбю из-за своих красных черепичных крыш напоминают залитых румянцем крестьянок. Это сейчас, глядя с вершины горы, к которой прислонился собор, я смотрю на выглядывающий из окошка моего детства Висбю и вижу их румянец. Смотрю и вижу, как, облизывая красные губы и размазывая по ним жир, стекающий из наших пропахших мясом ртов, мы шагаем навстречу стоящей поодаль Скальдине и цепляемся за длинные полы ее цветастого платья.

Нарек и Алис родились вместе, Тигран и Джули — вместе, я самая старшая и я родилась одна. Мы родились в Швеции, а мама и папа — в Армении. Армения далеко от Швеции. Мы родились вдали от Армении. Армения каждый день входила к нам в дом, когда моя бабушка включала скайп и усаживалась перед своим квадратным кухонным столиком, в одном углу которого она чистила лук и картошку, а в другом — вытягивала шею и заполняла экран компьютера своим морщинистым лицом, на котором светились добротой ее лучистые глаза. Всякий раз, когда я слышу слово «доброта», из узенького окошка скайпа выскакивает моя армянская бабушка, раскидывает руки и душит меня в своих объятиях. Всякий раз, когда я слышу слово «случайно», я будто вижу как Скальдина склоняется и шепчет мне на ухо: «Нет ничего случайного в этом мире — ни единое словечко не произносится случайно, ни единая буква не пишется. Ничего не происходит случайно. Все на свете имеет свои причины и следствия. Человек и слово, мысль и вселенная, жизнь и смерть рождаются друг из друга и угасают друг в друге». Слушаю я свою Скальдину, слушаю и передумываю. Пусть будет так: всякий раз, когда я слышу слово «доброта», моя армянская бабушка просыпается, открывает глаза и, помаргивая, как мерцающие на небесах звездочки, сеет свет по всей нашей земле.

Моя армянская бабушка для меня — это и есть доброта.

Вот я подношу свой сверточек кебаба ко рту, опускаю голову, но глаза поднимаю ко лбу и вижу, как мой папа Ар вводит что-то в свой сотовый телефон, вижу, как он этот телефон, который уже стал чем-то большим, чем просто телефон, с демонстративной бережностью опускает в нагрудный карман, вижу, как он горячо пожимает руку Кебабщику и, пятясь, отходя от него, победно поднимает руки со скрещенными над головой ладонями и машет ими, что я воспринимаю как знак прощания, потом поворачивается и с довольным видом человека, завершившего

важную миссию, высоко подняв голову, радостно лаская глазами почерневшие кресты на соборе Висбю, браво удаляется от прикованного к нему взгляда Кебабщика и почти бегом приближается к нам.

Я вижу все это в медленном, в тысячекратно замедленном кадре, в котором глаза мои видят и меня саму, и моих братьев-сестер, и мою Скальдину, и розовые кусты и сомкнутые рога каменного барана.

Пока мой папа добирался до нас, я вытянулась на пядь и с высокой моей высоты увидела то, чего не видела раньше: увидела тяжелый бег моего отца, который был не столько бегом, приближающим его к нам, сколько отдаляющим от Кебабщика. Мне и самой хотелось, чтобы мой папа поскорее ушел, отделался от этого человека, и хотя я не понимала, почему я этого хочу, но я хотела, чтобы он ушел от него далеко-далеко, пусть бы даже и не в нашу сторону, только бы подальше от этого Кебаба.

Сейчас, когда беда моего отца — это непреодолимый изгиб моей судьбы и грозит, как натирающий ногу ботинок, новой мозолью после каждого моего шага, мне кажется, что я тот самый блудный сын, который вместо того, чтобы вернуться в объятия к отцу, хочет вернуть отца в свои объятия, пусть отец так и не успел сказать: «Отче, я согрешил против Бога и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим», хотя бы по той одной причине, что он лишился обоих, еще не ведая и не признавая их существования, пусть он так и не успел сказать: «Девочка моя, я согрешил против Бога и пред тобою и уже недостойн называться твоим отцом». Этого так и не случилось, возвращение блудного отца не состоялось.

4. Моя Скальдина с зольными глазами

Кадр скользит и сменяется подобно тому, как перетекают друг в друга эпизоды нашей жизни, незаметно порождая один другой и умирая один в другом. Я заговорила, как моя Скальдина. Кино, со всемогуществом золотой рыбки, толкает время вспять, и наш взгляд смещает галоп преследующих нас по пятам железнодорожных путей в сторону, противоположную исчезающим перед нашим взором рельсам. Стремительно. Кино нашей жизни.

Я всматриваюсь в мамино лицо и улыбаюсь. Я уже узнаю ее: это моя мама. В те времена, когда я еще не понимала, что нет на свете ничего проще, чем узнавать маму, но уже узнавала ее, в те времена при виде мамы я восторженным агуканьем приветствовала единственного в моей жизни знакомого человека. Мама была бледная, со впалыми щеками, с остриженными под мальчишку волосами, а глаза ее были полны зольной воды. Что такое «зольная вода», я узнала всего несколько дней назад от моей армянской бабушки. Они разговаривали с мамой по скайпу, и бабушка спросила:

— Нарэ, помнишь нашу соседку Сируш?

Мама сказала:

— А то как же не помню, я, может, многое позабыла из того, через что сама прошла, а вот Сируш помню хорошо. Та, у которой сын уехал на шабашку и умер, а она так и не нашла денег, чтобы перевезти его тело. Ты ведь об этой Сируш?

Бабушка сказала:

— Вот молодец моя девочка, моя Нарэ, видишь, вспомнила... Так ведь померла, бедняжка, вчера вечером, с рубашкой в зольной воде...

Бабушка моя была единственная, кто звал мою маму Нарэ, и Скальдина моя всякий раз с такой радостью и любовью откликнулась своим «а джан!», что мне и самой иногда хотелось звать ее этим именем. Между бабушкиным «Нарэ» и маминым «а джан» умещался целый мир, неведомый нам и недоступный, в котором напрочь отсутствовали мы и наш дом и вся наша стокгольмская жизнь. И это мне не нравилось, но я еще не понимала почему, я обижалась на это, как обижалась всякий раз, когда

от меня прятали мою любимую «Нутеллу». В такие минуты мне хотелось, чтобы бабушка больше не звонила, не влезала бы к нам в дом через окошко скайпа, не отнимала бы у нас нашу ненаглядную Скальдину. Но только в эти минуты.

Бабушка моя всю жизнь жила в Армении, так же как мы с моими братьями и сестрами всю жизнь жили в Швеции. Когда-нибудь, когда я поеду в Армению, я перевезу свою бабушку в Швецию и приведу к нам домой, потому что наша учительница говорит, что старики должны жить в домах престарелых, а я не хочу, чтобы моя бабушка жила в доме для престарелых. Мой папа Ар, еще до того, как он уехал в Армению, и мы еще были счастливой семьей, как-то гладил меня по голове своей большой и тяжелой ладонью и, будто разговаривая с самим собой, объяснял: «Ты сейчас не совсем поймешь, почему я тебе все это говорю, но когда подрастешь и вспомнишь мои слова, то поймешь меня, дочка. Ты моя. Поймешь! Человек в жизни делает много верных и неверных выборов, но есть три вещи, от выбора которых зависит твоя судьба. Запомни это: судьба каждого человека в его руках, и судьбу эту создают те люди, с которыми он живет, то место — дом, улица, город, деревня, страна, где он живет, и то дело, которым он занимается. Не забывай об этом. Запомни, дочка, хорошенько запомни!»

Я не забыла, папа! Я так хорошо помню наше потерянное, убежавшее от нас счастье. Помню. И откуда я могу помнить, я буду вспоминать, папа!

Мои мама и бабушка всегда говорят по-армянски, я уже понимаю их, почти все понимаю, а те слова, что не понимаю, записываю в присланный бабушкой толстый блокнот, и как только мы отключаем скайп, я спрашиваю у мамы как это слово будет по-шведски, вписываю шведское слово напротив написанного шведскими буквами армянского слова и повторяю его раз за разом, чтобы хорошенько запомнить. Сейчас я уже хорошо понимаю армянский. Алис, Джули, Нарек и Тигран знают всего несколько армянских слов, как говорит моя бабушка, — пальцев на одной руке хватит, чтобы сосчитать. Но я знаю много слов, много-много! Я еще не очень хорошо говорю по-армянски, но уже все понимаю. Мама говорит, что «зольная вода» — это такая вода, в которую добавляют золу, чтобы стирать белье, она говорит, что в их деревне, там, где сейчас живет бабушка, одно время так и стирали, в те времена мыла не было, мама говорит — в их деревне до сих пор еще есть бабушки, которые стирают в зольной воде, она говорит — в их деревне есть магазин, в котором продают мыло, но у этих бабушек нет денег на мыло, потому они и голову моют в зольной воде, чтобы не завшиветь. Однажды у меня в волосах завелись вши. Но это случится позже. Я потом еще расскажу о вшах и о том, как я хотела умереть.

Я спрашиваю маму, почему рубашка той мертвой бабушки была в зольной воде, а мама моя улыбается мне своими зольными глазами и говорит — это такие слова, которыми поминают умерших бабушек. Моя мама очень умная, она все знает. Когда я вырасту, я стану поэтом, как мама. Сейчас я уже понимаю, что моя мама — поэт, но в те времена, когда я еще не знала, что нет на свете ничего проще, чем узнавать маму, но уже узнавала ее, в те времена я еще не понимала, но, наверное, уже чувствовала, что моя мама — поэт. Мама была бледная, со впалыми щеками, с остриженными под мальчишку волосами, а глаза ее были полны зольной воды. Я еще не сказала маме, что прозвала ее «Скальдиной с зольными глазами». Как-нибудь скажу. Я сейчас все рассказываю моей любимой мамочке.

Придет время, когда мне захочется прижаться к маме, смотреть в ее глаза, полные зольной воды, и сопеть, обняв ее за шею, сопеть как сопел мой папа, во сне. Именно тогда я и возненавижу своего отца и это его сопение, и именно по этой причине мне так сильно захочется прижаться во сне к моей Скальдине и сопеть в ее объятиях, но Скальдина моя будет далеко от меня, оставив меня на чужую маму, она уйдет от меня далеко-далеко, ладно хоть бы папа был рядом, так нет — и папа мой будет далеко-далеко, и останусь я на попечении других родителей. Нареку с Алис достанутся другие мама с папой, Тиграну с Джули — другие. Так и останемся — одни-одиношеньки...

Мой папа Ар, который не любил читать нам наставления, иногда выдавал монологи — облокотившись о кухонный стол, подперев рукой подбородок, устремив взгляд на верхушки деревьев за окном: «Когда ты маленький, родители — твои боги, когда подрастает, они становятся твоими учителями, когда они стареют, ты сам становишься им Богом и учителем, а вот когда твои отец с матерью умирают, ты низвергаешься со своего престола и остаешься один-одинешенек, никому не нужный». Когда я вспоминаю своего отца, это «один-одинешенек» свешивается с кончика моего языка и проскальзывает сквозь щелочки моих слов.

По вечерам, когда папа нас купал, а потом, закутав в огромные полотенца, по очереди нежно и заботливо укладывал нас по кроваткам, я, затаив дыхание, притворялась спящей, чтобы вслушиваться в голос моего отца за дверью, когда он отрешенно, самозабвенно беседовал со Скальдиной.

Помню, что он рассказывал о своем безотцовском детстве. В то время это было для меня туманной сказкой. Он рассказывал, что отец его был богобоязненным человеком, но более Бога веровал в справедливость и умер в вечной битве за справедливость. Он говорил, что не помнил отца, но из рассказов матери и родных понял, что малейшая несправедливость выводила его из себя, отец приходил в ярость, хватался за сердце и, зажигая сигарету за сигаретой, ходил взад и вперед по комнате, не находя себе места, без сна и покоя, покуда не находил выход, чтобы протянуть руку жертве несправедливости. Так вот и сам стал жертвой своих вспышек, сердце не выдержало.

Помню, что большая часть этих бесед сводилась к монологам, Скальдина моя только изредка вставляла слово или тихо вздыхала. Как-то папа Ар сказал: «Отец не успел стать моим Богом, скинул меня с престола, не дав даже взобраться. До сих пор не могу простить его, понимаешь, Скальдина?»

Я вскочила с кровати, босиком подбежала к двери, замерла недвижно в льющемся из щели свете и увидела, как Скальдина встала над головой сидящего на низеньком табурете отца, крепко обхватила его за голову и, пригнувшись, прижалась губами к его гладкому черепу. Мать с отцом застыли в остановившемся времени — грусть точно приклеила их друг к другу.

Я на цыпочках прокралась обратно. Их монолитное изваяние до сих пор стоит у меня перед глазами и моросит на меня грустью.

Моя Скальдина с золотыми глазами сейчас спит, привалившись головой к кожаной спинке дивана. Это сейчас она спит, когда злые чары рассеялись и дурной глаз, приставший к мамочке, ослеп, и черное проклятье отвратилось от нас, обрушившись на собственную голову, как сказала бы моя знающая, все зло и добро на своем веку повидавшая, армянская бабушка, но до той поры мне было грустно, ох и не сказать, как мне было грустно в самой распрекрасной стране на свете Швеции, где я осталась одна-одинешенька, где никто больше не лопал мои щечки так же вкусно, как зацеловывала меня моя Скальдина, где никто больше не душил меня в объятиях так же крепко, как прижимал меня к груди мой папа Ар, и никто больше не таскал меня за косички и рукава, припрыгивая так же весело, как вешались мне на шею и закатывались хохотом мои озорные братики и сестрички.

5. Сон маленькой одинешеньки

Сейчас, когда я осталась одна на всем белом свете, одна-одинешенька, потому что папа мой уехал в эту далекую Армению и не вернулся, потому что мама моя заболела и ее забрали в больницу и пока еще не вылечили, потому что Алис, Джули, Нарек и Тигран живут в других семьях и мы больше не деремся за право играть на компьютере, потому что я ребенок и осталась одна-одинешенька, без призора, не

понимая на кого и не понимая почему, сейчас я знаю, что какие бы мечты ни лелеял ребенок — полететь в космос или забраться по уши в банку с «Нутеллой» — все равно каждый вечер, перед сном больше всего на свете ребенок мечтает стиснуть в объятиях маму с папой, звонко чмокая, зацеловать их до умопомрачения и уморившись, уснуть с румянцем на щеках.

Как обиженный на жизнь ребенок, я выставила рога и взбунтовалась против своей новой «мамы» — отказывалась купаться в надежде, что если у меня заведутся вши, то она вынуждена будет от меня отказаться. Но никакие вши не могли отпугнуть истосковавшуюся по ребенку мою новую «маму», которой так сильно хотелось, нежно поглаживая мои волосы, заплетать их в косички, что она готова была любой ценой удержать меня, готова была выкрасть меня, чтобы я больше никогда не смогла увидеть мою Скальдину. Я ненавидела ласки и любовь своей новой «мамы». Мне хотелось убежать и вернуться в наш родной дом. Не будь моего спасителя Тумаса Транса, моя новая «мама» похитила бы меня, связала бы по рукам и ногам, заклеила бы мне рот и упрятала бы меня в глубине развалин Висбю.

Кадр выхватывает меня из мрака лежащей с открытыми глазами на кровати под стеной. Глаза мои медленно закрываются, и кадр увеличивает две крупные стеклянные капли, стекающие из-под прикрытых век в уголки моих глаз. Прерывая переливчатость капель, изображение сначала темнеет, а потом, постепенно светлея, разворачивается, как отснятый на пленку сон.

Сон маленькой одинёшеньки:

«Папа повел маму в кино. Мне грустно, грустно-прегрустно, что меня не взяли. Разве я не старшая в доме? Под одеялом можно различить тело моей бабушки — коротенькое, пухленькое, сжавшееся в комок. Я застыла на пороге. Бабушка, лежа в маминой кровати, постанывает во сне. Я босая. Украдкой подхожу к маминому зеркалу. Зеркало в белой раме прислонено к стене спальни, а под ним — белый столик, выдвигной ящик которого — сокровенное средоточие моих мечтаний. Я оглядываюсь по сторонам, мне кажется, что мама следит за моими мыслями и запрещает мне делать, что взбредет мне в голову, но искушение мое так велико, что я во всю силу тяну за ручку ящика, и запретный мир раскрывается передо мной во всей своей красе — всевозможные помады, бутылочки разных размеров, полные неведомых мне лосьонов и кремов, лаки для ногтей, духи — всего и не перечесать! Я не теряюсь — хватаю ярко-красную помаду и бесшумно задвигаю ящик обратно. Возвращаюсь, согнувшись в три погибели. Ведь мама, небось, следит за мной, и, улыбаясь собственной изобретательности, я заползаю под мамину кровать, которая добровольно становится свидетелем и соучастником первого в моей жизни разбойного нападения. В полутемной прохладе меня пробирает дрожь — а что если бабушка проснется, станет искать меня, не найдет, поднимет вопли на весь дом и двор, и что мне тогда делать? Но притаившаяся в моем сжатом кулачке увертливая, щекочущая мне пальцы помада рассеивает мои страхи и сводит на нет в моем детском сознании вероятность трагического исхода, так что я пытаюсь сообразить, как открывается помада, и быстро *допетриваю*, как любил выражаться Ази из поселка Скальдинино папы, известный Ази, который самолично *допетрил*, как можно менять рекламы к фильмам, так же как *допетрил*, как можно жить, не уповая на помощь посторонних, и все это не раз подтверждала своим авторитетным словом моя армянская бабушка, которая, свесив ноги из окошка скайпа, выпрыгнула оттуда, совершив мягкую посадку в нашей стокгольмской квартире, и теперь мирно спала в маминой и папиной спальне.

И вот, значит, я допетриваю, как открывается эта помада, и в то время как я вожусь с ней во мраке, душистый запах забивается мне в нос, покуда я неловкими движениями размазываю ее по губам, по щекам, по подбородку, по лбу. Я закрываю глаза и глубоко вдыхаю ее аромат, жадно слизываю с губ вишневый вкус и вспоминаю,

как мне всегда нравилось вдыхать Скальдинин запах, когда она приближала свои накрашенные губы к моему лобику, носику, глазкам, щечкам, подбородку. Обнюхивала меня, расцеловывала и, оставив за собой в моей кровати свой душистый след, внезапно уходила, и я, еще совсем кроха, уже горевала, сильно горевала без сладкого запаха губ моей Скальдины.

У-уу! Папа повел маму в кино. Кино осталось в «Клубе Або», наши вернулись домой. Но что это еще за такой «Клуб Або», какое он имеет отношение к нашей стокгольмской Biografen Saga, нашей известной Sage с ее сверкающими стеклами, червленными столбами и красными сиденьями? А-а, вспомнила! «Клуб Або» — он из сказки мамино детства, его Скальдина время от времени вспоминала, когда беседовала с бабушкой по скайпу. Наши вернулись из кино домой — вот мама стоит перед длинным зеркалом на двери трехстворчатого шкафа, задирает полу платья, и я из-под кровати вижу плавный рисунок ее ног. Мама стягивает нейлон телесных колготок и, поглаживая ноги, разговаривает сама с собой, но мне кажется, что она рассказывает бабушке:

— Фильм заканчивается сценой заката невероятной грусти, как если бы кто-то, вырвавшись из лап смерти, добрался до двери, а там, свисая с ее шеи, равнодушно дремлет ржавый замок. Ничего не стоит спутать карты человеку, но когда пугается и искажается Божий расклад, то я даже не знаю, чем это все может кончиться... Совсем не знаю... Точь в точь как в этом фильме — сцена заката, но в кадре крупным планом — ржавый замок...

Я грущу под кроватью — ну почему меня не взяли в кино? Я же самая старшая. Мама опускает подол и смотрит в сторону моей деревянной кровати. И тут же впадает в панику. Ее и без того бледное лицо становится белее мела. Ноги заплетаются, и пятясь, она валится на кровать. От страха я сжимаюсь в комок и прикрываю руками голову, чтобы мама своим весом не подмяла белоснежную бабочку моего банта. Мама визжит:

— Манэ, Манэ, где ты, деточка? Мама! — кричит она бабушке. — Мама, ты что спишь, где Манэ? — И, обезумевшая, выбегает из спальни.

Бабушка, которая еще до прихода наших успела проснуться и ушла на кухню пить кофе, дрожащим голосом отвечает:

— Что? Что ты такое говоришь? Как это где Манэ? Спит она.

А мама ей в ответ:

— Где это она спит? Кровать пуста. Манэ, Манэ!

А бабушка:

— Так, может, она в туалете. Манэ, Манэ, где ты, деточка?

И тут же в зеркале появляются ее коротенькие, согнувшиеся в колесо ноги. Кровать тоже чувствует приближение опасности и, точно хорошо зная свое дело, затаив дыхание, не издает ни звука. Я тоже затаила дыхание. Бабушка смотрит на мою пустую кровать, потом оборачивается к зеркалу, и в сероватом его отражении я вижу, как она хватая кончиками пальцев свои покрытые морщинами щеки и нещадно тянет их, мотая головой. Я босиком. Я протягиваю руки и хватаю себя за холодные пятки. Краснота помады размазывается теперь и по моим ногам. В полутемной прохладе меня пробирает дрожь. С одной стороны мне в ноздри забивается душистый запах помады, а с другой — вонь моих тревожно переворачивающихся кишок. Бабушка моя смотрит себе под ноги, и вдруг глаза ее в зеркале расширяются. Я не понимаю, что приводит ее в такой ужас, но то, что она *напугана до смерти*, я вижу в зеркале, потому что я ползком приблизилась к краю и высунула из-под кровати свой красный нос, чтобы хоть вверх тормашками посмотреть на то, что происходит в зеркале. «*Бояться до смерти*» — это я слышала от своего отца. Как-то он рассказывал маме, что годы назад его директор держал в «Наирите» мертвые души, выписывал зарплату умершим и заставлял неработающих призраков подписываться под левым списком, а потом,

слонявя палец, отсчитывал денежку и клал себе в карман. Рассказывая об этом маме, папа говорил: «Он меня до смерти боялся, этот стервятник». Или в другой раз: «Он меня чертовски боялся, этот сукин сын».

И тут я вижу, как бабушка поворачивается спиной к зеркалу, нагибается, и ее усыпанная коричневыми пятнами рука подбирается к моему носу. Я в страхе закрываю глаза. Сейчас умру. Страх нарастает. Умирая, я совсем чуточку приоткрываю глаза и оглядываюсь по сторонам — зеркала не видно. Бабушка молча ощупывает мои размалеванные помадой глаза, лоб и нос, приближает растопыренные пальцы к глазам и в ужасе вопит:

— Манэ, Манэ, что это за кровь, деточка, что ты наделала?

Потрясенная словом «кровь» и оцепенев от изумления, я еле слышно шепчу:

— Это не кровь, бабуль, не кровь.

В полутемной комнате я, поблескивая глазами, улыбаюсь, медленно разжимаю кулак и виновато смотрю в бабушкины изумленно вытаращенные глаза. Растопырив кривые ноги, бабушка нагибается ниже, смотрит на помаду в моей ладони и, точно не веря глазам, поднимает свою пятнистую руку к лицу. Я не осмеливаюсь поднять глаза, но представляю, как она трет их кулаком и, пугая меня, заходится смехом, слышав который, мама из кухни вприпрыжку, как козочка, вбегает в комнату, а я напуганным зайчонком снова заползаю под кровать и, съездившись, вся дрожа, представляю, как мама, белая как мел, смотрит то на меня, притаившегося зайчонка, то на бабушку, морщинки на лице которой так растянулись в широкой улыбке, что мама приходит в чувство, и тут что-то мне подсказывает, что сейчас самое время рассмеяться в голос, и как только я это соображаю, я громким хохотом присоединяюсь к маме и бабушке.

Я смеюсь с ними в один голос, схватившись за живот, растянувшись во весь рост под кроватью, мотая головой из стороны в сторону и топоча ногами. Я больше не трусливый зайчишка — ударившись лбом о край кровати, но сдерживая слезы, я выбираюсь из своего укрытия, мама прижимает мою разукрашенную красным голову к животу, и я тихо таю от маминого тепла.»

Тут сон мой заканчивается. Тут я просыпаюсь и грущу о своем сне — нет ни бабушки, запрыгнувшей из скайпа в наш стокгольмский дом, ни папы с мамой, вернувшихся из кино в Biografen Saga, где они, сидя в красных креслах, взявшись за руки, прижавшись плечами и прикасаясь коленями, смотрели фильм. Тут я одна-одинешенька, в чужом доме, в чужой постели, в совсем чужих запахах.

И в этот самый момент я смутно вспоминаю, что где-то уже читала эту историю, до того как она так вот со слезами и смехом просочилась в мой сон. Я вспоминаю, вдруг вспоминаю, что сон мой почти слово в слово был описан моей мамой Скальдиной в ее блокноте, который она оставила на столе перед тем, как уйти в больницу, только вот все то, что вспомнила и записала мама, произошло на самом деле в жизни маленькой Скальдины, то есть нет — маленькой Нарэ, а уж потом проникло ко мне в сон, после того как я уже прочла мамину историю, после того как я дрожала и плакала за мою Скальдину, и давилась смехом, топоча ногами, и хохотала, схватившись за живот.